

**Алексей МАНАЕВ**

*г. Москва*

# МОЛИТВА



*рассказ*

Он лежал на диване будто срезанный метким выстрелом в полёте — навзничь, голова за подушкой, руки-ноги вразброс. Из бутылки, нахально выглядывавшей из кармана брюк, в алую лужицу на полу капало густое, вязкое вино, напоминающее кровь, и в горнице висел порочный запах спиртного.

Рядом на стуле, поставив ноги в белых шерстяных носках на маленькую скамеечку, сидела тётя Вера. В руках — пожелтевший тетрадный листок в клеточку. Она разбирала слова, медленно шевеля губами и то и дело всхлипывая. Напротив, на стене в голубой деревянной раме — её фотография в паспорту. Ни гладкая причёска с пробормом, ни большие цыганские серьги полумесяцем, ни зазорный носик, ни добрый доверчивый взгляд — ничто не напоминало в молодой душечке нынешнюю тётю Веру. Ничего не осталось от пухлых губ и щёк. Как бы за ненадобностью они ввалились, обнаружив крупные скулы. Носик присел, сплющился, почему-то покраснев на кончике, и теперь походил на пипетку. Синие глаза подёрнулись дымкой. Время демонстрировало безграничную власть над человеком, способную превратить красотку в пушкинскую старуху, сидящую у разбитого корыта.

А на диване во всей красе возлежал её суженый.

— Уже? — спросил Катунин, недоумевая и отгоняя раскормленную муху, барражировавшую над узким дядиным лбом с чёлкой школьника.

Тётя Вера от неожиданности вздрогнула, засмушавшись, начала торопливо скатывать письмо в трубочку и запричитала:

— Уже! Люди утру радуются, а я слезами умываюсь!

— Где?

— А кто ж его знает... Рази свинья грязи не найдёт? — почти обречённо прошептала тётя и, поднимаясь, перекрестилась. — Господи! Прости меня, господи, великую грешницу, — несколько раз повторила она, выходя из горницы старческой шаркающей походкой.

Ей досаждал сколиоз: пригнул к земле так, будто тётя Вере ввиду особой греховности запрещалось смотреть на синее небо, на лёгкие облака, на радугу — на всё, что одухотворяло душу. Дядя выточил ей трость с фигурной наборной ручкой из плексигласа. Она сиротливо



стояла в углу. По дому тётя передвигалась на полусогнутых, растопырив руки за спиной. Со стороны казалось, что примерялась взлететь, да всё никак не решалась. Собираясь к соседям, непременно искала, как говорила, «кавалера» — сухую суковатую палку. Палка явно уступала трости по всем эстетическим параметрам, но тётя была почему-то любя.

Катунин и тётя Вера понимали друг друга с полуслова. Говорили об одном и том же — о её муже и его дяде Золотом, три дня назад в очередной раз оказавшемся в тенетах хитроватого Бахуса.

Катунин был не в духе. Он только что возвратился с деревенского пруда. Поход был неудачный. Рыба, будто объевшись загадочного деликатеса, нежилась где-то на глубине, игнорируя приготовленные ей пареный горох, личинки хруща, добытые в перегнившем навозе, свежую пахнущую жареными семечками и подсолнечным маслом макуху, за которой пришлось трястись на рынок в райцентр, и величиной с девичий мизинец дождевых червей. За утро ни одной поклёвки, ни одного задорного хлёсткого удара хвостом о воду.

Вопреки прогнозам спустился холодный для середины лета дождь — наказание за то, что не захватил ни зонтик, ни плащ. Мокрый, продрогший, уязвлённый неудачей, Катунин мечтал принять душ, завернуться в свежие пахнущие чабрецом простыни и унять раздражение комфортом и покоем. Не получилось. Вода из самодельного душа, найдя щель в уплотнителе, сбегала, а на свежих простынях бесстыдно валялось пьяное существо, именуемое дядей. Пришлось довольствоваться рукомойником, сухим бельём и махровым халатом.

Прислонившись спиной к стене горницы, Катунин сполз на пол и, обхватив колени руками, с нарастающим отвращением всматривался в беспечного родича. Понятно, когда капризничает ребёнок. Что с него возьмёшь? Но как понять разменявшего восьмой десяток старика, который капризничает похлеще любого ребёнка? Дядьку причисляли в селе к ванькам-встанькам, то есть к хроническим выпивохам — больным людям. Своеобразная кастовость авторитета Золотому, естественно, не добавляла, хотя и вызывала сочувствие у много-

численного женского племени села. Здесь редко кто из мужиков доживал до столь почтенного возраста, население почти сплошь состояло из молодых вдовушек, которые из-за отсутствия своих мужей снисходительно относились к проделкам чужих, считая их неизбежным следствием трудного женского счастья.

Катунин знал, конечно, вердикты медиков по этому поводу: хворь, хроническая болезнь. Но считал, что дружба с Бахусом вовсе не болезнь брэнного тела, а выверты души. Достаточно двух стаканов сивухи под названием «Три буряка», изготовленной местными алхимиками из сахарной свёклы (из сахара сивуху именовали иначе, любовно-элегически — «Ночь нежна»), — и ты в ином мире. В нём не надо косить сено, заготавливать дрова, гоняться с солдатским ремнём за склонными к проделкам детьми, тянуть ляжку от зарплаты до зарплаты, просто добывать хлеб насущный.

По Катунину, человек всегда в пути, даже если никуда не спешит. Но если он ведёт автомобиль и забывает о тормозах, то рано или поздно отправится на пикник на кладбище. Почему-то в обыденной жизни, в быту о тормозах многие не думают. Не самоограничение, а самоутверждение с помощью беспутства — вот, по мнению Катунина, линия поведения алкашей.

\* \* \*

Эту формулу он вывел из личного опыта. Родился в селе. С продукцией местного алкогольного бомонда знаком с пелёнок. Деньги водились всегда, даже в университете. У родителей не кланчил. Сам зарабатывал, разгружая по выходным срочные грузы на железнодорожной станции. После учёбы карман никогда не был набит кредитками, как зубами пасти пираний, но никогда и не походил на суму калики перехожего. И в компаниях гулял, и праздники справлял, и с коллегами, бывало, оттягивался. Дорогие ресторанные посиделки и томления в варьете тоже стороной не обошли. Но — в меру! В меру!

Лишь однажды по молодости в провинциальном городке, где тогда работал, случился облом. По окончании очередного субботника, как водится, мужская братия послала гонца в магазин. Ошибку сделали стратегическую.

Направили бы гонца в юбке — вернулся бы и с водочкой, и с закусочкой. А мужик есть мужик. У него всегда на закуску не хватает. Гонца прискакал быстро, довольный приобретением. Оказался коллега, видимо, из тех соколов, кто не закусывает, а запивает. На каждого пришёлся гранёный стакан водки да гранёный стакан минеральной воды. Всё!

Делать нечего. Чокнулись, начали обмывать достойно завершавшуюся вылазку на природу — в парк, где убирали дождавшуюся субботника покрытую плесенью гнилую прошлогоднюю листву. И чем решительнее и быстрее Катунин глотал тёплую жидкость, тем хуже становилось. Он схватил другой стакан — с водой, чтобы разбавить продавленный в нутро спирт, тоже пил большими глотками, но чувствовал себя так, будто глотал Олимпийский огонь. И только когда стакан опустел, по поведению окружающих и по собственному взбунтовавшемуся чреву понял, что закусил ещё одним стаканом водки. Да не просто стаканом — а гранёным, с юбочкой. Получилось, что без крохи хлеба увеличил объём желудка сразу на целую бутылку сивухи, чего никогда не делал. Сослуживцы ещё долго вспоминали его решительный «рывок» в преисподнюю и благополучное возвращение в рай земной.

А тогда все напасти, будто почуяв добычу, свалились на Катунина сразу. Еле добрался до дома. В отсутствие жены, отбывшей за тридевять земель в командировку на очередной химический завод, пришлось плестись в детский садик за дочкой. Здесь по просьбе воспитательницы с помощью цинкового ведра надо было увеличить высоту песочницы «до Монблана». Казалось ему, что под ногами палуба корабля, на которую вот-вот обрушится девятый вал. Выдержал. Дома надо было накормить и уложить спать дочку. А дочка сначала не хотела есть кисель с непроваренными комками исходного материала, потом не хотела ложиться спать в столь ранний час и просила поиграть в скороговорки. Начала она:

— Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перескоровыговариваешь, но заскороговорившись, выскороговорил, что все скороговорки перескороговоришь, перескоровыговариваешь.

Прыгали скороговорки, как караси на ско-

вородке. Катунин старался что есть мочи, спотыкаясь на каждой букве и подолгу буксуя на каждом слоге. Дочка хохотала, аплодируя розовыми ладошками и спрашивая:

— Папуль, а, папуль, ты что, сегодня ежа проглотил?

«Проглотил... проглотил... ещё какого ежа», — думал Катунин, пытаясь осилить скороговорку, — не удалось.

Наутро проспали. Воспитательница в детском садике, похожая на подрумяненную оладью, игриво погрозила пухлым пальчиком с наманикюренным длинным, как таракан, ногтем:

— Ох, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич. Я думала, вы джентльмен, а вы всего-навсего парень с нашей улицы.

— Не браните, исправлюсь, — буркнул Катунин.

— Смотрите, смотрите... А то донесу жене, что изменили, сразу узнаете, как чувствуют себя люди в колонии.

— Когда это я жене изменил? — удивился молодой отец.

— Вчера. У меня на глазах с ведром обнимались.

Раньше, в других обстоятельствах, Катунин ответил бы, что не прочь пообниматься и с собеседницей, но сейчас соскочил на нейтральный тон:

— Ах да, я и забыл. С нелюбимой обниматься — что крокодила целовать: и страшно, и противно.

На работе сантименты не разводили, влепив первый за десятилетие неустанных производственных бдений выговор.

С тех пор где бы ни был, какие бы должности ни занимал, с кем бы ни отмечал юбилеи, повышения по службе и иные торжества, которыми неизменно правит вечно молодой и всегда готовый Бахус, взял за правило: максимум — три рюмки. Больше — бессмысленно. Тогда уже всё равно, что пьёшь, — водку ли, вискарь, хвалёный элитный французский коньяк или розовый кубинский ром, текилу из кактусов — всё отдаёт сивухой, всё норовит клюнуть в темечко. Шампанское и вино — любое — не знал и знать не хотел. Вот попеть, потанцевать, подурачиться, если ранжир компании позволяет — сколько угодно. Спиртное — не приведи господь! Даже пиву предпочитал компот из сушёного шиповника с мёдом. Цвет

такой же, но пахнет нектаром, а не амбре с ясными нотками мочи.

А тут... Он вглядывался в лежащего на накрахмаленных простынях Икара-Золотого в черных протёртых носках, в которые были заправлены странные для летней поры кальсоны, и почти физически чувствовал, как обида из маленького червячка постепенно превращается в злость, злость в злобу, пульсирующую в висках.

Золотой из тех, у кого не телосложение, а теловычитание. Голова маленькая, уши торчком, шея длинная, дряблая, цветом похожая на дождевого червя. Плечи вдавило в тщедушную грудь, которая была создана явно не для того, чтобы закрывать амбразуру. В этой хилой грудёнке хрипела и мучилась, ища пристанища, болезненная душа. Только глаза были чистые, ясные, хотя и всегда настороженные, ожидающие каверзы. Но и они, наверное, стыдясь хозяина, спрятались за припухшими веками.

Катунин уже давно жил в стольном граде и служил в министерстве, с утра до вечера обитая в большом, с комнатой отдыха, кабинете, где в углу филином нахохлились молчаливые высокие часы, стоящие на полу, и куда время от времени ловкая, статная секретарша, распахивая двери, как врата рая, вводила прихожан — в основном мужчин, с файлами, папками, фирменными блокнотами. Катунин общения не затягивал, с ходу улавливая суть вопросов и уровень их проработки. На этот счёт у него были две заготовленные фразы. В одном случае, положительном, — «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В другом, отрицательном, — «полуфабрикатных детей не бывает, бывают недоделанные». Но говорил он её только своим приближённым.

К вечеру от череды совещаний, непрерывных звонков, «прихожан», как он называл подчинённых, уставал. За год усталость накапливалась, сигнализируя об отдыхе. Доходы позволяли отдыхать где угодно, с шиком. Но забугорные моря и санатории, равно как и отечественные, вызывали у него душевную аллергию.

В том ли смысл отдыха, чтобы вставать и ложиться по расписанию, целыми днями сновать по этажам, пытаясь осчастливить брэнное тело процедурами, которые часто прописывали не потому, что нужны, обязательны, целебны, а потому, чтобы загрузить санаторную службу. Как-то

по наивности Катунин поинтересовался, сколько нужно баловать себя этими процедурами, чтобы быть здоровым, ему, шутя, ответили: первые три года — каждый год, а потом — ежегодно.

В том ли смысл отдыха, чтобы ходить послушным стадом за гидом, не наслаждаясь красотами пейзажей, архитектурными артефактами, живописью мастеров прошлого и подмастерьев настоящего, а как бы принимая их в нагрузку? Не успеешь взглянуть, а тебя уже влекут дальше, будто приехал за тем, чтобы в какой-то неведомой, непонятной ведомости отметить: и я тут был. И будто от этой ведомости зависит, в рай ты попадёшь или в преисподнюю. Считал, санатории и турпоездки с круизами — что искусственное дыхание: даже кашлянуть не допускается.

Поэтому Катунин предпочитал, как он говорил, беспривязное содержание — отдых в родном селе. Оно, конечно, вроде бы и несолидно, и не по-современному. Даже в отпуске, если ты крутой начальник, ты себе не принадлежишь. Надо ехать туда, где можно завязать новые полезные связи, где можно как бы ненароком, не прилагая особых усилий, войти в круг людей, влияние которых сравнима разве что с небесной канцелярией. В переменчивой, как апрельский день, жизни бюрократа это многое значит. Если не сказать — всё. Но в кругу «властелин мира» постсоветского закваса приходилось быть на побегушках. В любой час можно было остаться вне его. Бег вслед за уходящим поездом Катунину поднадоел, и он решил остановиться, оглядеться. А где можно оглядеться, подумать, куда плыть, к какому берегу приставать, как не в деревенской глуши?

Поэтому Катунин ездит в провинцию, носит провинциальные одёжки и общается с самой что ни на есть сельской публикой, — ниже этого круга уж точно никогда не окажешься. Здесь удобней всего зализывать служебные раны. А главное — здесь здоровее и духу, и, что немаловажно, телу. Всё свежайшее — в стольном городе ни за какие деньги не купишь. Вода из городского крана и даже бутилированная под названием «Святой источник» — это жидкость. Вода из деревенского колодца с дубовым срубом и дубовой бадьёй — это живая вода. Молоко в пакетах, не прокисающее по полгода, — это консервы, деревенское парное молочко — это эликсир молодости. И так

во всё — в овощах, фруктах, в местных колбасных деликатесах с чесночком и перчиком, в подсолнечном масле с запахом юности, в початках кукурузы молочной спелости, близкой к пчелиному молочку, в озонном воздухе — во всё!

Встаёшь и ложишься спать, купаешься в речке, загораешь, рыбачишь, принимаешь воздушные ванны, собираешь грибы, фундук и степную землянику не тогда, когда прикажут или обяжут расписанием, а когда захочется и заможется. Если же потребуется прибегнуть к омовению культурой — пожалуйста. Рядом — подземные монастыри в меловых горах, старинные церкви, музеи, где Крамской соседствует с Репиным, а Куинджи с Шишкиным и Айвазовским.

Была в деревенском отдыхе ещё одна прелесть — воздержание, самоочищение. В офисно-кабинетной жизни всякое случается: нет-нет да и притронешься к женским прелестям молодых козочек-секретарш, нет-нет да и окажешь им знаки внимания. Деревенская жизнь флирт исключает. Тут все на виду. Народ понятливый и сметливый. Только задумаешь согрешить, а все уже знают когда и с кем.

При жизни матушки Катунина выбор для отдыха родительского дома был естественным и беспроблемным. Сложнее оказалось выбирать, когда незабвенной матушки не стало. Дядя, матушкин брат, тоже привечал. Но, остановившись у него раз-другой, Катунин занервничал. О том, что Золотой увлекался спиртным, он, конечно, знал. Но одно дело — знать, совсем другое — видеть воочию. Запой могли длиться днями. Полноценный отдых становился невозможным в принципе. Тут никакой эликсир молодости, никакая живая вода не помогут.

И всё-таки он останавливался на деревне. Дядя, с которым вырос бок о бок, был бездетным, и казалось важным скрасить одиночество стариков хотя бы минимальным вниманием. Надеялся и на то, что уж на этот раз пронесёт. Да и жалко было. Судьба у родственничка не приведи господь.

\* \* \*

Золотой не имя и не фамилия — кличка. Так прозвали его отца, вернувшегося с Первой мировой войны в расписанном золотом мундире, да

ещё и с Георгиями. Кличку в наследство оставил сыну. Больше — ничего.

Под хмелем Золотой любил вспоминать, как в село заехал шумный табор цыган. Женщины, звеня монистами и полыхая красными длинными юбками, разбежались по дворам. Одна, бойкая, глаза — с головку репчатого лука, оказалась в доме Золотого. Увидев на столе красивую брошь, вызвалась рассказать о судьбе хозяина — что было, есть и что будет. Уговорила. Вытащила откуда-то из многослойных юбочных тайников зеркальце, несколько раз провела по нему пальцами, что-то загадочно шепча. Зеркальце тут же будто вскипело, покрывшись мелкими капельками воды.

— Ну вот, дорогой, ну вот, золотой, — тараторила цыганка. — Несчастный ты мужик, ох, несчастный. Плакал, плачешь и будешь плакать. Без отца вырос, немцы чуть не расстреляли, в казённый дом угодил. Дальше говорить не буду, чтобы не расстраивать, и брошь за гадание не возьму — жалко тебя.

Воспоминания эти у Золотого непременно вызывали слезы. Утверждал: прошлое чавела<sup>1</sup> угадала, а вот насчёт будущего промахнулась. Живёт он сейчас как у Христа за пазухой. Частые запои к благу не относил, но не относил и к несчастью, руководствуясь формулой: пьяный — проспится, дурак — никогда.

Цыганка, похоже, действительно умела угадывать прошлое. Лет в семь остался дядя без отца при живом бате. Поглянулась тому разбитная молодка. Первое время сын не мог спокойно пройти мимо нового отцова двора. Всегда пробегал. Стыдился. Будто не его отец бросил, а он — батю. Пытался даже из остатков косы нож смастерить, чтобы лишить жизни разлучницу, полоснув остриём по самому горлу. Уж и ручку фигурную янтарного цвета сделал. Проговорился матушке — Катунинной бабушке. Та прижала к себе и сказала:

— Не вздумай. Не позорь нас. Не поможет. Косой отцов не возвращают. У Бога всего много. Хватит и на нашу долю счастья.

Видно, ошиблась — не хватило. Сначала навалилась коллективизация, потом начали усиленно искать врагов народа. Только-только прошли

<sup>1</sup> Чавела — цыганка.

это минное поле, грянула война. Немцы оккупировали хутор летом, в начале июля. Подкатили на танках и мотоциклах к колодцу, который был рядом с домом. Увидев Золотого, заставили его попить воды из немецкой алюминиевой кружки. Убедились — не отравлена. Напились сами, хоча, облили его с головы до ног и отпустили, называя Ванкой-Манкой, то есть Ванькой-Манькой.

Золотому не понравилась ни картавая речь, ни мышиноного цвета форма, а больше всего — бесцеремонность, с которой вели себя незваные гости.

— Скоты! — шептал он, видя, как солдаты с обнажёнными торсами, попив водицы и облив себя водой, тут же, у колодца, принялись мочиться. — Хуже скотов.

Хлеба были ещё не сжаты, и новые хозяева заставили взрослых односельчан — женщин да стариков — убирать поля днём и ночью. Золотой с приятелем решили показать, кто в доме хозяин. Они достали припрятанные автоматы, найденные в лесополосе, и открыли по односельчанам огонь. Стреляли вверх голов. Стращали честной народ.

Сосед, почтенных лет почти слепой старик, у которого двое сыновей были на фронте и который симпатизировал новым хозяевам, вычислил ребят и посадил под замок, чтобы предъявить оккупантам. Но односельчане не дали. Старикан, видимо, одумался: выдрал народных мстителей шестнадцати лет от роду мокрыми вожжами и отпустил. Пронесло, хотя попереживать пришлось. С тех пор приятелей величали партизанами: кто — с теплотой, а кто — и в насмешку.

На второй год войны, в январе 1943-го, сразу после освобождения села, семнадцатилетний Золотой ушёл добровольцем на фронт. Боялся, что война обойдётся без него. Часть из местных хлопцев собирали спешно. Обучать и основательно вооружать её было, видимо, некогда. Не до того. Под сельцом с причудливым названием Стригуны она приняла бой и рассыпалась карточным домиком. Новобранцы разбрелись по всей округе, не зная, что делать. Какой-то седой генерал, проезжавший на трофейном «виллисе» и увидевший растерянных ребят, сказал: «Сынки, идите по домам. Без вас разберёмся».

Пошёл домой и дядя Катунина. Новенькие сапоги выменял на еду. Километров сто шёл по мартовскому подтаявшему снегу в перевязанных

бечевой портянках. Дома заболел. Болел долго, трудно, впадая в забытье. Еле выкарабкался, но всю жизнь тяжело, надрывно кашлял. С тех пор и начал таять на глазах. Остались кожа да кости. На фронт больше не направляли. Призвали восстанавливать Сталинград. Снова провожала его матушка Катунина. Теперь просил побыть с ним подольше. В Сталинграде столярничал, плотничал, крыл крыши. Повезло? Да как сказать: с одной стороны, неизлечимая болезнь до конца дней, с другой — не попал на передовую. Окажись в окопах — выжил бы?..

Вернулся домой только в 1946 году. Но дома не задержался. Летом 1947-го, в жатву, обоз с зерном нового урожая отправили на хлебоприёмный пункт. Старшим назначили Золотого. Было голодно. Решили прихватить хлебца. Брали мешки за углы, высыпали зерно в бург, а что оставалось в углах — было уловом. На выезде из приёмного пункта охранники тару взвесили. Она оказалась подозрительно тяжелой. Из мешков высыпали хлеб. Набралось семь килограммов пшеницы. Вот и справил Золотой новоселье в негаданном месте — в казённом доме на Крайнем Севере. За семь килограммов зерна — семь лет нар.

Крайний Север и так не подарок. А тюрьма в краю непуганых медведей — тем более. Приходилось всей семьёй вязать шерстяные носки, выращивать на огороде табак и отправлять всё это посылками в зону. Доставалось в первую очередь Катунинной матушке — посылку надо было отнести в город, и только потом она могла следовать к адресату. До города более пятидесяти вёрст. Хорошо, если подвезут. А если нет — только на свои ноги надежда. Когда Золотого сразу после смерти Сталина освободили, а затем и реабилитировали, как бы освободили и реабилитировали всю семью. Катунин хорошо помнил день, когда Золотой возвратился домой. Мальцу было четыре года. Тогда он не понимал, где и почему был дядя, почему бабушка опустила перед пришельцем на колени и сказала, не сдерживая рыдания:

— Сынок, ты святой. Только святые выходят из этого ада.

Позже Катунин понял её правоту. Выдержать Крайний Север с изрешечёнными болезнью лёгкими мог, наверное, человек, действительно приближенный к небесной канцелярии. И по-

том бабушка всю жизнь огораживала сына от трудностей, будто была виновата в том, что Золотого определили на нары, отправив, как отпетого уголовника, в суровые края.

\* \* \*

О лагерной жизни он почти ничего не рассказывал. Вроде и не было долгих лет испытаний. О Сталине говорил не иначе как о вожде, который рождается раз в столетие.

— Он же тебя погнал на каторгу. За семь кило зерна — семь лет, — недоумевал Катунин.

— Погнал не Сталин, мил-друг, а окружение. Мало ли вокруг него дураковвилось? Если нас в ежовых рукавицах не держать — всю страну по карманам растащим. Он её, страну, собрал, отстоял от немца. Посмотри на карту — вон какая завидная, мама не горюй... Это тебе не тщедушная какая-нибудь Лилипутия. Что за страна с лапоть величиной? В лагерях не мёд. Но зато теперь любого мужика за пояс заткну.

Он имел в виду, конечно, не физическую силу. Благодаря лагерям Золотой, по его признанию, увидел в себе человека. Катунин не мог объяснить эту метаморфозу. ГУЛАГи отнимали у заключённых здоровье, калечили души. Дядю же лагеря не обобрали, не ошкурили, а, напротив, как бы ограничили, слегка обтесали. Пришёл без единой татуировки. Не пил. По возвращении домой бросил курить и был самым востребованным специалистом в округе.

Первое время, соскучившись по жизни на воле, Золотой брался за всё. Но постепенно энтузиазм иссяк. Нимб человека, ни за что сурово наказанного, проступал всё ярче, был всё объёмнее. Считал, что после северных лагерей имеет право пожить для себя. Даже кузнечное дело, которым занимался на первых порах, его начало тяготить. Готовился к тому, чтобы зарабатывать трудодни дома. Построил мастерскую. Её можно было принять за выставку столярных инструментов: на стенах мудреных названий рубанки метровой величины и крохотные, долота, стамески, деревянные лучковые пилы и ещё великое множество приспособлений для обработки дерева. Всё сделал сам, щепетильно подбирая и выдерживая материал и с усердием подгоняя каждую деталь.

Когда появилось электричество, по собствен-

ному разумению сладил универсальный столярный станок. Настенная коллекция инструментов оказалась ненужной. Знатоки её сватали. Были гонцы даже из столицы. Предлагали большие деньги. Дядя, в деньги влюбчивый, в этом случае становился резким и непреклонным. Говорил обзлённо:

— Это моя душа. А она не продаётся ни ангелу, ни черту, ни дьяволу. Ступай отсюда, мил-человек, подобру-поздорову, не доводи до греха, а то обматерю. — Дядя, отъявленный матерщинник, почему-то, посылая друзей и врагов по различным эротическим маршрутам, не избегал при этом ласково-умилительных обращений: «мил-человек», «душа моя», «сударь». Блатняк в его словаре почти отсутствовал. Говаривал:

— Я не фокусник, но сделаю всё, что душе угодно.

Мог он сделать действительно почти всё, без чего сельскому жителю было тогда не обойтись. Не касался только машин.

— Это не по моей части, — вроде как оправдывался. — Бензин и солярку каждый день нюхать здоровье не позволяет. Столярка — моё. Захочу — ковёр-самолёт слажу. Деревянный!

Дядя любил прихвастнуть. Особенно в компаниях, на которые у него был нюх, как у пчелы на нектар. Только-только соберётся кучка народу, а он уже там. Тут же, с ходу, никем не прошенный, вступает в спор, доказывает, опровергает, ну и, разумеется, хвастается умением. Ковры-самолёты из его мастерской, конечно, ни разу не вылетали. А вот окна, двери, столы, стулья, табуретки, шкафы и ещё великое множество столярного товара он выпустил. И не только столярного. Свалить и подшить валенки, стачать сапоги, тапочки — пожалуйста! Сложить печь, покрыть крышу соломой ли, шифером или железом, срубить дом — запросто!

Подковать лошадь, изладить хомут, сбрую, сани — да ради бога! Делал с душой. Тот же хомут, украшенный медными рельефными пластиночками, выглядел нарядно, празднично, и казалось, что он приободрял самую захудалую колхозную лошадедку. Как и янтарного цвета дуга, украшенная растительным орнаментом, под которой звонко и бодро в любую погоду пел колокольчик.

— Что такое дуга, скажи-ка, мил-друг? — спра-

шивал Катунина. — Упряжь, которая не позволяет хомути набивать коню грудь? Э-э-э, мил-человек, мелко плаваешь. Представь: у невесты вместо фаты лапоть на голове. И как тебе такая невеста? А лошадь — она покруче невесты будет, если за ней ухаживать. А если не ухаживать — лучше не заводите. Понял, что такое дуга, друг ситцевый? Фата, корона царская!

Когда люди, которых на дух не переносил, к нему приводили коня, чтобы подковать или почистить копыта, он всё равно брался за работу и делал её на совесть.

— Мы можем собачиться сколько угодно, а животное при чём? — опять будто бы вёл с Катуниним диалог Золотой. — Лошади — существа бессловесные. Они нашу лапотную деревню столетиями из грязи вытаскивали. Кланяться им надо, мил-друг. Кла-ня-ть-ся!

В доме всё, вплоть до рамок для фотографий, было изготовлено собственноручно Золотым. Над одной рамкой горбился особенно долго, инкрустируя её, украшая затейливыми узорами. Поместил в неё большой портрет средних лет мужчины в галстуке, фуражке, с усиками мушкой и прилаживал на стену рядом с иконами.

Катунин удивился:

— Почему портрет отца в святом углу? Он же не святой. Тебя бросил...

— Для меня батя святее святых, мил-друг, — зло зыркнул на Катунина наивной детской синевы глазами. — Ещё посмотрим, что из тебя, племянничек, получится. Святой или грешный... Жизнь из святых быстро делает грешных. Не успеешь оглянуться, а уже чёрт с хвостом.

\* \* \*

Странная особенность была в его характере. В одних случаях — железная твёрдость. В других — детская податливость. Со временем эта податливость проявлялась всё больше и больше и связана была с его мастеровитостью. Многочисленные клиенты, за исключением колхозных заказчиков, старались отблагодарить Золотого не только рублём, но и вездесущим магарычом. Постепенно его верной и единственной подружкой становилась рюмка. Сначала выпивал для аппетита, потом — с устатку, а потом — каждый день по поводу и без повода.

Тётя Вера старалась отбирать дары клиентов, он начал эти дары прятать то за стреху, то в кучу опилок, то ещё куда-нибудь. Вставая рано утром, она пыталась обнаружить потайные места и прибегала к самосуду, тут же разбивая бутылки. Самосуд привёл только к тому, что раньше он называл супругу жёнушкой, Верушкой. Теперь у неё было одно грубоватое имя — Верка. «Верка, возьми... Верка, принеси... Верка, купи...» — не иначе.

В остальном самосуд ничего не давал. И заказчиков было много, и дядя был изобретателен. Золотой вычислял потенциальных клиентов и авансом выпивал магарыч у них дома. Запойные дни могли сочетаться с месяцами трезвыми. И тогда цены ему не было. Но штиль да гладь, да божья благодать, видимо, скоро надоедали, и вновь начинало штормить. К себе был снисходителен, а к таким, как он, беспощаден, называя их безвольными слабаками. Рассказывал об одном бедолаге, который по своей инициативе проходил курс лечения в стационаре. Приехал домой обнадёженный. Человека будто подменили.

— Представляешь, племянник, на выпускном всех их, алкашей чёртовых, построили в две шеренги. Велели выйти из строя нашему земляку. Поднесли полстакана водки. Тот выпил — и в обморок. Хорошо, что рядом врач был, откачал...

Вернулся героем. Живёт месяц, другой, третий. Мужики отмечают праздники, выходные, собравшись у магазина, пьют за компанию. В их обществе он чувствовал себя человеком второго сорта. И не выдержал. Купив бутылку водки, поехал в город, сел на пороге больницы. Выпил сколько хотел. Больничная помощь не потребовалась. Нерушимая дружба с рюмкой была восстановлена, а историю эту долго муссировало местное общество как образец изобретательности и твёрдости духа мужика. Сельчанин ходил в героях, не подозревая, что над ним подтрунивают. Дядя его осуждал. Сам утренние обходы клиентов не прекращал, собирая самогонный оброк без стеснения, и к алкашам себя не относил. И что удивляло больше всего: ни возраст (а Золотой прожил три четверти века), ни щедушность, ни частые объятья со спиртным почти не сказывались на его работоспособности. Столярка выпархивала из мастерской по-прежнему часто и во все концы.



\* \* \*

В войне с Бахусом Катунин был на стороне тётки Веры. Золотые, сам Золотой и жена его, — одногодки. Оба прошли жесточайшую школу жизни. Может быть, в молодости их взгляды на всё, что окружает, и совпадали, но к старости они разошлись так, что совместная жизнь вызвала удивление, потому что была сродни существованию в одной клетке кота и канарейки. Дядя хорошо освоил роль кота-разбойника. К гостям относился с явной неблагосклонностью, считая, что они сужают его жизненное пространство, урезают свободу, вносят дискомфорт в давно сложившийся уклад. Прежде всего уменьшают возможность приложиться к рюмке, хотя при случае он посылал по дальнему маршруту гостей и отмечал любой день недели как престольный праздник.

По этой же причине тётка Вера гостей привечала. Они увеличивали не очень многочисленную армию сторонников, демобилизовали её решительность и совместными усилиями, как ей казалось, окорачивали порочные страсти супруга. И был в этом не только некий нравственный, но и сугубо бытовой резон. Тётка Вера передвигалась с трудом, а у Золотого — хоть и в чём душа! — средства передвижения были в полном порядке. Он ходил так, будто вот-вот сорвётся в бег, и даже ездил на велосипеде. Без него ни воды принести, ни в магазин сходить, ни выполнить другую обычную домашнюю работу.

А ещё гости скрашивали её быт. Золотой, если не пьян, работал в мастерской или налаживал отношения с заказчиками. Дни проходили в одиночестве. А тут готовая слушать любые деревенские истории аудитория! Тётка Вера, рассказывая, по обыкновению что-нибудь делала: резала на тонкие дольки-лепестки яблоки и груши, чтобы высушить на зиму под солнцем, лепила вареники с картошкой или творогом, закрывала банки помидоров с огурцами, вязала пучки чеснока, чтобы повесить их на чердаке. За этими занятиями и сыпались как из рога изобилия истории одна печальнее другой.

То вспомнит, как жилось ей, шестнадцатилетней девчонке, оставшейся сиротой с двумя братьями намного младше её, в голодный 1946 год. Однажды соседи, у которых была корова,

принесли два кувшина молока. Тётка Вера протомила его, поставила глиняные кувшины — драгоценной древних греческих амфор! — в сундук, который закрыла на амбарный замок. Подумала: как хорошо, мол, сделает из молока ряженку — на неделю хватит. Приходит домой с работы — сундук на месте, замок на месте, кувшины на месте, на самом горлышке, вверху, поджаренная молочная пенка красуется. Только в кувшинах молока ни капли. Оказывается, голодная гвардия с помощью соломинок, пропущенных между досок сундука, выцедила всё до грамма.

— Вот какие были пострелы, — шептала она, плача и чему-то улыбаясь.

Но чаще всего разговоры роем вились вокруг персоны дяди, и улыбка сходила с её лица. Она причитала:

— Всю жизнь на него положила, а он кажинный божий день в душу плюёт. Господи, прости меня, господи. Такой человек скаженный.

В тётки Веринем лексиконе слово «кажинный» означало «каждый», а «скаженный» — «непорядочный», «искажённый», из свиты самого сатаны.

— Приходит соседка. Говорит: «Верка, забери своего ваньку-встаньку». Где забрать, как забрать? Я же недвижимость! «У нас дома на диване лежит», — отвечает. Пошла в огород за луком, двери на щеколду — и всё. Возвращаюсь — хата нараспашку. Я — в ступор. Неужто цыгане похозяйничали? Больше, слава богу, у нас некому. Захожу, а твой красавец свернулся калачиком и дрыхнет. Двор, видать, перепутал по пьяни. Вот скаженный так скаженный. Полдня домой тянули. Господи, за что ты меня наказал, за что? — пошамкав беззубым ртом, продолжала: — Погнал коров деревенских пасти. Вечер в окна заглядывает, стадо по домам разошлось, а пастуха нету. Сиж у калитки на лавочке, жду. Часа через два является. Еле на ногах держится, но с букетом ромашек. Где, говорю, был? А он: цветы тебе собирал, больно красивые ромашки попались. Тьфу! Иногда соседи говорят: «Вер, сегодня «Любовь и голуби» опять показывать по телику будут. Посмотри». А зачем смотреть? У меня своя любовь и свой голубь. Сел на лавочку рядом и задремал. Ромашки ноги нюхают. Я его домой тяну, а он улыбается... улыбается. Скаженный.

Не успевала аудитория переварить одну историю, а тётя Вера уже начинала другую. Сделал, мол, благоверный скворечник. Висит себе и висит на фронто́не мастерской аккуратный птичий домик, скворцов поджидает. Птицы несколько раз прилетали, но что-то им не поглянулось и на квартиру не стали. Смотрит, что-то уж слишком часто он птичий домик прилаживает, хотя жильцов у него нет. Что-то тут не так.

— Думаю, дай понаблюдаю, — говорит тетя Вера. — Мама дорогая!

У скворечника оказался секрет: боковая стенка покоилась на скрытых петлях и открывалась вроде дверцы письменного стола. Туда, поднявшись на стремянке, Золотой прятал самогонное богатство. Тётя распотрошила и этот клад. Дядя в очередной раз стал героем хуторских прибауток.

— Золотой, а, Золотой, ты у нас птицевод. Вон каких скворцов вывел. Горластые, с зелёным отливом, — ехидничали.

— Выведешь тут с ними. Сами бутылки суют, а потом издеваются, — оправдывала на этот раз тётя Вера суженого. Но очередная история вновь была не в его пользу.

— Привезли в магазин водку. «Пойльская» именуется. Да что это я? Какая там «Пойльская»? Нет, не «Пойльская»... Бутылка благородная такая, как ваза, хоть на выставку...

— Может, «Посольская»? — робко предполагал кто-нибудь из слушателей.

— Ну да, ну да, «Посольская». Во память стала, что решето: сколько ни наливай, всё равно пусто будет. И голова пустая-пустая.

В доказательство тётя Вера стучала по лбу морщинистыми пальцами, вздохнув, перекрещивалась и продолжала:

— Ведь я, тетёрка, водку дома не держу. У него нюх, как у кота на колбасу. А тут купить решила. Братец меньшей, Цыганом из-за черных курчавых волос дразнили, обещался в отпуск заглянуть. Лет пятнадцать не виделись. Как по-человечески не встретить? Купила. Сховала в старый валенок да на печь вместе с другими валенками отправила. Время от времени заглядываю — лежит-полёживается бутылочка невредухонька. Ну, думаю, хоть раз провела. Приехал брат. Накрыла стол. Чокнулись. Хотела и я согрешить ради встречи — рюмку приголубить. Да голубить оказалось нечего. В

рюмке вода гольная из колодца. Ума не приложу, как подменил: все запоры на месте, а невесты нет. Ищи ветра в поле. Хорошо, опять соседи выручили, не подвели.

Если тётя Вера начинала обличительные речи, а Золотой был дома, он бросал по обыкновению:

— Ну, запела, запела... Ты бы рассказала лучше, как дом доской паркетной обил снаружи. Каждую дощечку собственными руками ошупал, обнюхал, выстругал, каждую дощечку подогнал да покрасил масляной краской. Крышу железом перекрыл, водостоки сделал. Ты хоть пальцем пошевелила? Только погоняла. У одних хаты рубероидом обиты, у других — крашеным шифером или железом. Стоят что сараи. А у нас — терем! Ты бы рассказала, как колодец прямо во дворе справил. Какой погреб кирпичный выложил. Как весь двор вымостил. А ты слова доброго не сказала. Заезженная пластинка, всё об одном и том же — какой у тебя муж дурак. Я дурак, а ты хорошая-расхорошая... Цаца нашлась!

После такого «монолога Чацкого» дядя почти выбегал из дома, матерясь и зло хлопая дверью. Все участники «шоу» чувствовали себя неловко, не знали, что делать. Но через день-другой обличительные монологи продолжались.

Тётя Вера была щедра, угощая слушателей. Если картошку жарит, то так, чтобы плавала в масле, как рыба в воде. Если пирожки печёт, то такие, что одним можно взвод выходящих из окружения солдат накормить. Бывало, провозжая Катунина домой, совала ему в руку несколько мятых сотенок.

— Что съешь? Что съешь? — возмущался дядя, никогда не отличавшийся щедростью. — Да у него этих денег куры не клюют, прятать некуда. Чай, в столице живёт, вон где работает! А ты ему рваные сотенные.

— Боишься, тебе на бутылку не достанется? Я чужие деньги не считаю. Всё, что есть, — его. А это внучке передаю. Пусть мороженым лишний раз побалуется.

Лишь одно могло хотя бы на время примирить враждующие стороны — бразильское теледиво «Рабыня Изаура». Сериал транслировали ещё в советские времена дважды в день — утром и вечером. Чем бы родственники ни занимались, они откладывали дела в сторону и мостились у телевизора. Тётя Вера возлежала на диване, на боку,

положив ноги на стул, дядя прямо на полу, упёршись локтями в подушку.

«Ишь ты, тетеря, гляди-ка, прямо пава!», «Вот тебе и рабыня, так тебе надо, черт рогатый», — сопровождали они действие короткими фразами. Иногда дядя не умел соединить логику нескольких сцен и спрашивал у тёти Веры:

— Верк, а, Верк, чего это она?

Тётя Вера покровительственным тоном разъясняла, не забывая уколоть: пить меньше надо!

— Да ты хоть бы в святой день помолчала! — не выдерживал дядя. — Хоть бы в святой день...

Катунин долго удивлялся тому, что Золотой называл святыми днями обыкновенные дни недели, когда показывали мыльную оперу. А потом понял почему. Жизнь Изауры напоминала их собственную жизнь, до самого верха наполненную отчаянной борьбой за выживание, за кусок хлеба, просто за добрый взгляд. Но эта обыденная жизнь не предполагала счастливого конца, он не то чтобы не угадывался в туманной дали, его — такова планида — просто не могло быть. Не могло, и всё. А тут самый настоящий «хэппи-энд», который размягчал, распрямлял душу, вселял минутную иллюзорную надежду на то, что счастье придёт и за ними, как пришло за Изаурой. Придёт и скажет: «Господи, как вы далеко живёте. Еле доберетесь».

Но счастье не приходило. Поэтому, наверное, оказался мало востребованным подарок Катунина — видеомагнитофон и кассеты с записями этой и других модных тогда мыльных опер. Видак поставили на полку под телевизором, накрыли темно-вишнёвого цвета накидкой. Тётя иногда смахивала фланелевой тряпочкой пыль с видеоцентра, завершая процедуру одними и теми же словами:

— Вот и побывала в гостях у сказки...

\* \* \*

Вспоминая всё это, Катунин поднялся. Не зная, что делать, начал приседать, вытягивая руки ладонями вниз. Очередной раз приседая, заметил под диваном свёрнутые в трубочку листы бумаги в клеточку, которые, видимо, обронила тётя Вера.

Какая-то неведомая сила, которую трудно назвать даже любопытством, заставила его

опуститься на колени и, припадая на локти, достать находку.

Примостившись на краешке стула, он опасно и брезгливо снял с неё пыльную паутину и стал читать, с трудом разбирая каракули. Золотой спал, время от времени произнося одну и ту же фразу:

— Вчера это... завтра. Завтра... это вчера.

— Ещё один Черномырдин-златоуст нашёлся, — зло подумал Катунин, опасаясь, как бы за чтением чужого письма его не застала тётя, и презирая себя за любопытство.

Послание было коротким, с соблюдением стиля мещанской среды столетней давности. Писали его спешно химическим карандашом то ли на колене, то ли ещё на какой-то неровной, зыбкой поверхности.

В правом углу размашисто вроде эпитафии выведено: «Лети с приветом вернись с ответом». Ниже шёл текст. Внутри предложений знаков препинания почти не было.

«Здравствуй душа моя Верочка. С горячим северным приветом к тебе и самыми што ни есть наилучшими пожеланиями Александр. Верочка во первых строках небольшого письма спешу сообщить што жив и здоров чего и тебе желаю. Мы с тобою Верочка как будто богу негодные люди. То разлучила война. То псиной вцепилась тюрьма и на семь лет загнала на нары. Но ты верь мне. Ты жди меня. Я каждый день в мыслях хожу от Ухты до нашего дома, чтобы хоть раз будто случайным ветерком заглянуть в твоё окошко. Я всё выдержу и перенесу только штобы увидеть тебя.

Душа моя Верочка. Ты знаешь как я попал сюда. Следовательно языком чесал возьмёшь всё на себя будешь сидеть немного а как не возьмёшь, то отправит всех туда куда Макар телят не гонял. И будете вы там пастись до седых волос. И сказал што и ты вместе со всеми будешь нагуливать жирок на вольных тюремных хлебах.

Душа моя Верочка. Рази я мог позволить штобы твои кровиночки-братья остались без пригляда? Штобы ты проводила цветущие годы на нарах? И я взял всё на себя и пошёл по этапу. Будь уверена во мне тебя я никогда не забуду и не разлюблю

Душа моя Верочка. Не писал тебе по причи-

не што довели меня. Определили подшивать валенки тех кого гонят по этапу. У нас такая норма што справиться с нею невозможно и за сутки а не то што за 12 часов. И придумали тут выход. Прихватывают к подошве местях в трёх-четырёх дратвой другую подошву што для ремонта. И погружают валенки в таз с водой и выбрасывают на улицу где мороз 50. Здесь не только мокрые подошвы смерзаются здесь кипятик на лету в душу дьявола превращается. А пойдут по этапу люди ноги валенки согреют и подошвы отвалятся

Верочка. Тут на севере всего много. Снега леса морозов. Но на севере нету тепла. Особенно среди зеков. С волками жить да по овечьи бляеть не получится. А я не стал подвывать. Ай я не человек ай христианского у меня духу нету? И припёрла к стене стая так что наглотался я негашёной извести. Ради Христа прошу тебя ты не беспокойся лежу в тепле в лазерете. Глотка ещё побаливает. Не плач не рыдай душа моя Верочка. Слезы лить токмо душу травить. Осталось полтора годка до нашей встречи до моей свободы. Душа моя Веро...»

На этом письмо обрывалось. Оно не могло быть отправлено по почте да, судя по потёртостям, не было отправлено никуда вообще. Где хранилось, как оказался в лагере запрещённый там химический карандаш, почему тётя Вера время от времени, когда Золотой в

очередной раз уходил в загул, доставала свёрток и по слогам, плача, читала пожелтевшие страницы, стараясь, чтобы никто не застал, Катунин не знал и знать не мог. Может быть, неровные, корявые строки письма и оставались той молитвой, которая призывала давнюю жертвенную любовь на помощь в самых каверзных ситуациях?

Он свернул находку в трубочку, опустил под диван и, ошарашенно взглянув на постанывающего во сне Золотого, выбежал на улицу под резвый холодный дождь. Катунин чувствовал, что открыл в чете Золотых что-то новое, даже не подозреваемое. Он силился и ещё не мог понять сути этого открытия.

А дождь шёл и шёл не переставая. Жизнь продолжалась, но какая-то иная жизнь, на которой смутно настаивала душа.

□

### ***Алексей Васильевич МАНАЕВ***

*родился в 1949 году на Белгородчине.*

*Окончил Казанский государственный университет.*

*Кандидат исторических наук.*

*Журналист.*

*Государственный советник Российской Федерации I класса.*

*Член редколлегии журнала «Человек и закон».*

*Публиковался в журналах*

*«Наш современник», «Московский вестник», «Подъём»,*

*«Волга», «Человек и закон» и других изданиях.*

*Автор нескольких книг.*

*Удостоен государственных, региональных наград.*

*Живёт в Москве.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

